

Карсавин Лев Платонович

**Культура Средних веков.
Общий очерк**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Л34

Л34 **Лев Платонович К.**
Культура Средних веков. Общий очерк / Карсавин Лев Платонович – М.:
Книга по Требованию, 2026. – 225 с.

ISBN 978-5-519-88526-3

ISBN 978-5-519-88526-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ластикami и мистиками, мы суживаем наше постижение вечного: забывая о „простых“ явлениях жизни, отрезаем себе путь к пониманию ее существа; отединенные от прошлого, целостно не живем в настоящем.

К выяснению „основной психической стихии“ можно подходить с разных точек зрения, и данное на страницах этого очерка построение не требует признания религиозно-философских взглядов автора: оно, хотя и ценой отказа от последних объяснений, легко переводимо на язык позитивной мысли. Ведь „основную психическую стихию“ можно изучать и только по ее проявлениям в экономической или политической истории, отбрасывая религиозные проблемы. Но, если вообще религиозно-метафизическое понимание ближе к истине и плодотворнее—в применении к средневековью, к эпохе по преимуществу религиозной, оно предписывается самим существом дела. Следует устранить возможность важного недоразумения.—Цель автора не в объяснении экономических явлений религиозными, не в искании и указании причин, хотя для краткости ему и приходится прибегать к видимости причинного объяснения: к „потому“, „поэтому“, „так как“ и „в силу“. Его задача обнаружить деятельность основных моментов развития в разных сферах жизни, не касаясь чрезвычайно сложного вопроса о взаимоотношении этих условно разделяемых в исследовании и изложении сфер. Ясно, что для выполнения такой задачи нет необходимости стремиться к связному и полному изображению средневекового процесса во всех его аспектах. В одних случаях стихия жизни ярче сказывается в философской мысли, в других—в экономической борьбе, что нисколько не препятствует религиозному (но уже в высшем смысле) пониманию второй. К сожалению, ограниченность отведенного автору места принудила его сосредоточиться на трех главных странах средневековой европейской куль-

туры и отказаться от мысли включить в изложение историю Пиринейского полуострова, славянского мира и даже Англии. Это сделало бы очерк более полным и позволило бы развить ряд высказанных в нем соображений, но чрезмерно увеличило бы объем его. Пришлось выбирать между внешней неполнотой и крайнею недоступностью изложения. Предпочтительнее первое, тем более, что даже при таком самоограничении необходимо было стремиться к сжатости изложения и допускать его неравномерность в расчете на просвещенного и любезного читателя.

I.

Во главе падающей Западной Империи стоит „божественный“ „государь, разрешенный от уз закона“, разрешенный потому, что „воля государя—высший закон“. Ничем не ограниченный деспотизм отделенного от подданных пышным двором и приличествующим божеству культом, увенчанного диадимой „владыки“, занял место слабого подобия демократии—сенатской олигархии. Государство—его собственность; подданные—его рабы. Опираясь на войско и многочисленную, все растущую бюрократию, двор императора чувствует себя всевластным, и нет сферы жизни, куда бы он не считал себя вправе проникнуть и не проникал, если это ему было нужно и если он... мог это сделать. Мелочному надзору подчинены города, уже юристами III в. сравнимые с опекаемыми малолетними. Еще дальше идет прикрепляющее к городу „куриалов“ государство в надзоре за корпорациями. Оно обращается к принудительным средствам в деле обработки земли, правда—понуждаемое к тому обезлюдением империи и падением земледелия, устанавливает таксы на товары и стремится заставить население торговать. Но вся политика правительства лишена ясного понимания своих целей и положения страны. Бюрократия размножается не в силу потребностей управления, а по соображениям родства и дружбы, становясь не только органом власти, а и язвою общества. Общество все более рассматривается

с фискальной точки зрения, и пред лицом запустения империи, стараний разных групп населения убежать от делающихся нестерпимыми налогов, переменить профессию и положение государство знает только одно начало—охранительное, только одно средство—принуждение. Бегут из своего города куриалы—государство прикрепляет их к должности и делает ее наследственной; бегут колонны—оно, не думая, что беглецы, может, лучше устроятся и станут платежеспособнее на новых местах, прикрепляет колонов. Так же закрепляются члены корпораций, солдаты, мелкие чиновники. Общество насильственно вгоняется в рамки кастового строя, что выражается даже в формах внешнего общения—в привязанности к отличиям и титулам, заражающей одинаково и государя и подданных, в разном отношении закона к „*honestiores*“ и „*tenuiores*“. Правительство знает, что его бюрократический аппарат действует плохо, знает о вопиющем грабительстве чиновников и умеет бороться с этим только бесконечным повторением угроз и... увеличением бюрократии в целях бесполезного надзора. За немногими исключениями, государи и „государственные люди“ конца империи обнаруживают полное отсутствие духа творческой инициативы и ясного понимания действительности. К тому же, внутреннее управление делается лишь средством для внешней политики, великодержавной по традициям, бессильно уступающей—в лучшем случае за формальное признание верховенства Рима—все новые и новые области варварам и обороняющей быстро суживающиеся границы. Великодержавие становится бледною, хотя еще и прекрасною мечтою, а реальная власть переходит в руки „военной партии“—варваров Рикимера, Гундобада, Одовакара.

Централизация и бюрократизация империй вместе с проникновением деспотизма во все сферы жизни знаменуют собою падение политической и всякой иной ини-

циативы всех общественных классов и групп и даже отдельных лиц, а бюрократический дух убивает политическую инициативу самой бюрократии вплоть до высших ее слоев, где карьеризм приходит на смену политической деятельности. Литература и переписка IV—V веков дают нам представление о политическом миросозерцании лучших людей эпохи.—Магнаты, родовая и чиновная знать, сильны на местах своим землевладением и личным влиянием. Освобожденные в большинстве случаев, как „сенаторы“, от подчинения местным властям и от падающих на территорию города налогов, они—первые люди в своем городе, магистраты, члены его курии, его патроны, епископы. Вместе с губернатором и муниципальными должностными лицами они избирают патронов и кураторов, назначают профессоров, участвуют в составлении инвентаря городского имущества и в раскладке налогов. Они любят свой родной город, свою родину, и еще в V в. галльская знать только „намеревается сбросить с себя пену кельтской речи“. Сидоний, знатный поэт и епископ V в., противопоставляет свой овернский народ, „равного которому не создавала еще щедрая природа“, „старому роду римлян“. Его Овернь, его Галлия кажется ему великим целым, символизирующим еще большее целое—Рим. „Я не знаю, говорит он устами Рима, кто может сравниться с Траяном.—Разве ты, Галлия, опять пошлешь победителя“.

Так местный патриотизм расширяется в общеимперский.—Все же, Рим пристанище и жилище законов, ось мира и отечество свободы. И, негодуя на его тиранию, провинциальные магнаты любят его инсигнии и пурпур его вождей. Они с горечью смотрят на падение мощи империи, с ужасом—на бурные волны варварских нашествий, бессильно мечтая о былой „доблести“ римлян. Но им чужд действенный общеимперский патриотизм.

Вне прохождения обязательного для всякого порядочного человека „*cursus honorum*“, вне карьерных соображений их политическая мысль расплывчата и бесплодна, понимание ими задач империи элементарно и схематично, хотя и облачается оно в пышные панегирики и громкие фразы, заимствованные у древних. В их искреннем и живом, одушевляющем на прекрасные слова и чувства, патриотизме, видна внутренняя слабость и дряблость, и не случайно, что ось его—любовь к римской культуре: к литературным занятиям и—у немногих—к науке. У этих политиков-мечтателей местный патриотизм на деле всегда преодолевает общеимперский, а личные экономические и культурные интересы преодолевают патриотизм местный. Потому то и возможны удивительный оптимизм некоторых, прямое забвение элементарного патриотического чувства и долга другими, равнодушие столпов христианской церкви к судьбам империи.

Для знати отечество сводилось к охраняемой „римским миром“ культуре и преимущественно к образованности, понимаемой риторически-литературно. В широких слоях населения, ведущих глухую борьбу с государством за свое благосостояние, нет и такого патриотизма. Для них идеал отечества—идеал материальной культуры: то, что создает возможность плодотворного труда и спокойной жизни. В массах, чувствующих гнет государства, думающих, что оно со своими благами и блеском существует лишь для богатых, видящих даже в истязаемых властью куриалах только тиранов, нечего искать жертвенного патриотизма. Массы не видят в имперском единстве пользы для себя. Они готовы приветствовать несущих им облегчение от фискального гнета варваров, ждут и жаждут их прихода и, как галльские „багауды“, переходят на их сторону.

Идея отечества исчезала или становилась бледным образом, теряя свою жизненность и силу, и только

местный патриотизм временами вспыхивал в борьбе с варварами или с германофильской политикой империи. Политическая мысль и жизнь замирали. Терялось понимание государственных целей и задач, и политические взгляды становились отвлеченною идеологией. Но то же самое исчезновение духа инициативы наблюдается и в других областях жизни, прежде всего—в тесно связанной с политикою экономической деятельности. Сохраняя видимое единство, империя уже утратила единство хозяйственное. Прекратился живой обмен между отдаленными провинциями, а вместе с ним исчезла и дифференциация империи по родам производства. Участвовавшие прежде в широком обмене крупные поместья замыкались в себе и стремились к самодовлению. А под их сень старалось укрыться и ремесло. Торговый класс отрывался от всего организма хозяйственной жизни или приспосаблился к потребностям магнатов... Легкость и быстрота перехода к более простым формам экономического быта свидетельствуют о том, как мало в империи жизненной экономической силы, умения и желания оценить хозяйственную культуру, как мало экономической инициативы, как велика „атония“ и в этой области жизни. Дело не в том, что хозяйственные бедствия, нашествия варваров и гнет деспотизма убивали жизнь, а в том, что не было сил и желания бороться с этим.

Не государство вгоняет общество в рамки кастового строя. Само общество, пассивно отдаваясь ходу вещей, теряет потребность в свободной социальной жизни. Толпы безработного люда бездельничают и просят милостыню на улицах и площадях большого города, а у самых ворот его земля лежит заброшенной и невозделанной и плодороднейшие местности покрываются болотами. Падают классовое самосознание и классовая гордость: куриаль бежит в колонны, сво-

бодный земледелец ставит себя в жалкое положение прекариста, делается клиентом, крепостным, рабом. Очевидно — и личная свобода перестает уже быть благом. Недаром закрепление общества представляется вполне естественным и удобным средством управления империей. Государство закрепощает куриалов. Превращая свободных колонов в крепостных, оно лишь подтверждает стихийный социальный процесс. Патронатные связи и прекарий вырастают вне прямого воздействия государства, как и создание около магната связанного с ним личной и земельной от него зависимостью мирка. И на такие сплоченные узко-личными интересами властвования и заступы мирки дробится империя. Они, прообразуя собою феодальный строй, крепче и сильнее умирающих провинциальных и муниципальных единств. Правительство принуждено делать их, уже не нуждающихся друг в друге, последними инстанциями своей власти. А они повинуются центру только до тех пор, пока есть у центра сила, удерживающая их в высшем единстве. В этих магнатских мирках, как в микрокосмосах, сосредоточиваются остатки римской материальной культуры; сами магнаты хранят духовное наследие античности.

Общечеловеческое значение и смысл римской империи в создании римской — не латинской или итальянской, а общеримской культуры, рост которой осенен „римским миром“. Империя никогда не представляла собою этнографического единства, и поэтому настоящей целью ее не могла быть национальная культура. Исходным моментом развития, конечно, была культура римлян. Римское оружие, ее же создание, открыло ей мир, распространяясь в котором, она быстро потеряла свою исключительность. Расширение римского государства расширяло и базу творчески культурного труда, т. е. национально-римская культура впитывала в себя куль-

туры покоряемых народов, подчиняясь более высоким: греческой и эллинистической и благодаря этому теряя свою национальную особенность. Творческое созидание римской культуры является в то же самое время весьма сложным процессом взаимодействия ее с другими, более и менее развитыми. На Западе романизация органически связана с варваризацией, т. е. с расширением базы культурного развития, усвоением культурой новых элементов и неизбежным понижением общего ее уровня. Задача заключалась в творческом создании единой культуры и приобщении к этому творческому созиданию широких слоев пестрого этнографически населения империи. Но в силу быстроты внешнего роста Рима, громадных различий в степени развития между романизирующими и варваризующими и количественной ничтожности культурных верхов задача эта выполненною быть не могла. Влияние Рима не претворило в себе местных, правда бедных культур Запада, не преодолело местного патриотизма в его опасных для общего единства проявлениях, не вытеснило национальных языков. С другой стороны, живые силы естественно уходили в элементарную цивилизаторскую работу, понижавшую культурное их качество, и тем вызывали оскудение культурного центра. Творческие силы слабели, отвлекаемые задачами воспитания варваров. Они не могли уже далее расширять базу своего труда и, слабея, суживали круг своего действия: переставали быть творческими и от созидания нового обращались к бережению старого, порывая с содержанием—поддавались обаянию традиционных форм. Благодаря этому высоты культуры снова становились национальными и отрывались от низов общеимперской культуры, а самое ценное в них теряло жизненность и делалось бережно хранимою и потому—недейственной традициею. Сознание римского единства, как единства культурно-госу-

дарственного: и—более культурного, чем государственного, сказывается в поздней империи. Феодосий Великий (379—395) и преемники его политики пытались сохранить единую культуру, опираясь на варваров и варварскою силою поддерживая государственность. Но и лучшим представителям падающего Рима уже очевидно было падение его политической мощи. С уст блестящего риторы срываются многозначительные слова: „Единственным признаком благородства скоро станет знание литературы!“ Благодетельный епископ грезит о прехождении „Града земного“ в „Град Божий“. Как бы предчувствуя близкую смерть, античный мир напрягает все силы для последнего синтезирующего труда. В области права, религии и философии римские юристы, религиозные мыслители, Плотин и Прокл подводят итоги вековой культурной работе. Но империя уже бессильна.— Все возможное ею сделано, и внешнее, государственное единство для целей культуры бесполезно. Империи остается передать возвращенную ею культуру победоносной церкви и незаметно уйти.

Природа и дух позднеримской культуры яснее всего обнаруживаются на вершинах ее—в культуре духовной, в образованности, носителями которой были те же магнаты, „honorati“. Лучшие из них пламенно любят литературу и науку и сами, по мере сил, двигают их вперед. Исключительного развития достигает форма; содержание отходит на второй план. Литератор, магнат или профессор, в стихах и прозе описывает свою виолу, обеды, рыб пойманных в пруду, пишет сатиру на долговязых германцев или излагает в стихах краткие сведения из римской истории и речения семи мудрецов. Весь свой стилистический дар влагает он в предназначенные для потомства письма к друзьям, а если не может и этого—старается прославить себя тонким критическим чутьем. Знания его неглубоки и безжизненны,